# Фабрика

документальная пьеса[[1]](#footnote-1)

Действующие лица

Нина, 1924, начальник цеха

Галина, 1936 г.р., учитель

Альбина, 1937 г.р., старший мастер

Римма, 1938 г.р., чёсальщица

Светлана, 1940 (?) г.р., токарь

Антонина, 1949 г.р., начальник участка

Людмила, 1952 г.р., тростильщица

Надежда, 1954 г.р., экскурсовод

Александр, 1924 г.р., помощник мастера

Альберт, 1938 г.р., слесарь

Николай, 1941 г.р., преподаватель истории КПСС

Вячеслав, 1948 г.р., начальник цеха

Михаил, 1950 г.р., рабочий

Евгений, 1951 г.р., следователь

**Пролог. Песнь о трудовом стаже**

Хор:

Пришла на фабрику в 14 лет

Так и работала, пока на пенсию не села

Без двух лет полвека

Общий трудовой стаж моих предков – 500 лет

Таких маленьких не брали, но я себе год приписала

устроилась приёмщицей пряжи

Всю жизнь отдала фабрике

Одна запись в трудовой книжке

После войны начала работу банкоброшницей

Подставляла к станку скамеечку, чтоб достать

бабушка в ткацком, мама в прядильном

Названия-то какие, как стихи Маяковского: трёпальный, чёсальный, крутильный, тростильный

привезли из детдома на фабрику

40 лет от звонка до звонка

**Фабрика. Тогда**

Надежда:

Сейчас невозможно представить себе, чем была фабрика для рядового рабочего. Это как для крестьянина корова. Фабрику называли кормилицей, слагали о ней песни, относились к ней как к одушевлённой. Мы ни к чему сейчас так не относимся. Просто раньше были другие люди.

Светлана:

Прихожу я в первый день на работу. Мне сказали погулять по цехам, осмотреться. Вся такая красивенькая, атласный халатик сшила, косыночку в горошек, воротничок в горошек, иду, ручки в кармашках. Ещё не касаюсь ни оборудования, ничего. И вдруг одна ткачиха, как понесла меня матом. Вроде того что: ходят тут всякие, работать некому, хоть бы помогли. И у меня потом, конечно, всю смену глаза на мокром месте были, я не понимала, за что меня отругали.

Антонина:

Всё крутилось, вертелось! Это что-то! Столько народу было! Я была из деревни, производства не видела. Ещё возраст такой - 15 лет. И как-то всё это для меня… Какой-то пух летает по фабрике. Я думала: что это такое? Иду по территории – деревья все белые стоят. Долго не могла запомнить, как пройти в мой цех. И я просто запомнила одну работницу и ждала её на улице, чтобы с ней пройти и найти своё рабочее место.

Светлана:

Всё гремит, стучит, уши закладывает. Крутятся шпули, на них нитки накручиваются. Где-то шпули накрутились, надо бежать, снимать, новую ставить. Я бегаю. Встал один станок, другой. У меня паника! Женщины, которые там работали, видят, девчонка с вытаращенными глазами – они своё бросают, мне помогают. Я там на 5 килограммов похудела! Месяц проработала и думаю: а ведь, правда, на фабрике толстых нет, все худые. Очень тяжёлая работа. Кто это назвал лёгкой промышленностью? Удивительно. Очень тяжёлая работа.

Римма:

Сказали нам: платочки, чтоб никаких косичек. Был случай, когда у девочки коса попала в мотор – и… в общем, не спасли. Мы напугались, косички убрали и друг за дружкой по цехам, как утята, топ-топ. Вышли – кричим на всю улицу. Мы ничего не слышим, мы оглохли. Для нас это было шок, вот прямо шок: как же мы тут будем работать? А когда стали работать – ой, девчонки, косы-то обстригли. Они были такие длинные, такие толстые. Я до сих пор бегаю, смотрю ту фотографию, где я ещё с косами. Потому что я сейчас лысая, даже стесняюсь. В платке всю жизнь проработала.

Нина:

Брат приехал ко мне, и я провела его трёпальным цехом, потом ткацким. Он руками замахал: «Выводи меня отсюда! Это торпеды летают! Вылетят ещё». А когда вышли, говорит: «Это убийство! Такой грохот, такой шум! Ты что, другого места себе не могла найти?». Фабрика была вся чёрная. Пыль стояла невозможная! Шум был! А лёгкие станки ещё и трещали. Освещение очень плохое. Пряжу возили вручную. Работали и пожилые, и больные – жить не на что, вот и приходили.

Антонина:

Ко мне приехала мама – посмотреть, куда я устроилась. И вот я провела ее ткацким цехом, потом ленто-ровничным. И когда мы остались вдвоём, она села и заплакала: «Как же вы тут работаете? Это ведь какой-то ужас!» И она всё время меня жалела. И то приходишь – в цеху пух летит. Полные глаза пуха, и сама вся в пуху. Без конца отряхиваешься. Потом уже нас научили с губкой ходить.

Нина:

Мне дали задание: заменить отработанные детали. Я беру ключи, разбираю. Смотрю. То, что выработано – в сторону. Новую деталь ставлю. Узел вставляю на место, и ка-а-ак заверну! И я настолько полюбила вот это – отвернуть, завернуть, поставить, заменить. Я ничего не боялась, не брезговала, что там грязь или что. Я очень полюбила оборудование. И попросилась туда, где машины. Главный инженер говорит: «Но это же мужская работа!» – «Ну и что? Мне нравится!». Он так посмотрел на меня, мол, куда ты лезешь? Плечами пожал: «Ну, раз нравится…»

Вячеслав:

Я принёс цилиндр, наставил длинный вал, через который выбивали шпиндель. Слесарь держит шпиндель и говорит мне: «Давай, вдарь по шпинделю кувалдой». Я ударил, он говорит: «Почему так тихо? Давай сильнее». Я второй раз. Он: «Ещё сильнее». А я мимо. Кувалда вырвалась у меня из рук и пролетела рядом с его головой. Он бросил шпиндель – и на меня. Думал, убьёт. Еле ноги унёс. По всем цехам улепётывал, как заяц. После этого недели, наверное, три не заходил в мастерскую: боялся.

Нина:

Для меня владеть гаечными ключами, молотком – это была ерунда! Дома папа занимался всеми плотницкими делами, а мы во всём ему помогали. И вот мастер приводит меня в цех. А там – одни мужики, и молодые, и старые: «У-у-у, кто к нам пришёл!» Мастер на них шикнул: «Никаких «у-у-у»! Чтоб не обижать». Они быстро поняли, что я серьёзно к работе отношусь. Сначала вроде пытались: «Принеси, подай», но не на ту напали! Инструмент я весь знала: какой ключ накидной, какой простой, что такое коловорот, молоток. Помню, один стал со мной спорить, а другой ему говорит: «Ты с ней лучше не спорь! Её на мякине не проведёшь!»

Николай:

Пришёл на комбинат прямо к директору. Тогда можно было легко попасть к директору. Он сказал: «У меня мест нет для таких маленьких». Я закричал, что у меня отец погиб за моё счастье, а мне даже работы нет. Был молодой, нахальный. Ещё руки подмышки так важно сложил. Директор вызвал начальника отдела кадров и говорит: «Устрой его, только с глаз моих убери». И меня устроили территорию мести, мусор убирать. А фабрика — одни девчонки! И вот я такой раскудрявый, 16 лет, тут с метлой пашу. Они идут, хихикают! Терпел, потому что деньги были нужны.

Римма:

Мы, подростки, работали группами: и мальчишки, и девчонки. А мальчишки – родители-то у них не учёные, они и матом ругались, и всё. Хотя и девчонки были тоже разбитные, ругались наравне с парнями. Но мальчишки никогда не обижали девчонок. И мы были такие гордые, что работаем. Я любила приходить рано, когда фабрика ещё спит. Идёшь между станками в фартуке и в косынке. Идёшь и радуешься.

Нина:

Мы получили задание демонтировать полторы тысячи ткацких станков. И вот я смотрю и думаю: «Как вытаскивать станки с этими детьми?» Начали работать, я командую: «Раз-два, взяли!». А они – ни с места. У них сил нет, голодные! Я тогда встала вперёд, накинула лямку, и мы потащили. Подходит старый рабочий и говорит: «Дочка, ты чего творишь?! Почему себя не бережёшь?!». Я отвечаю: «А что делать, если они ничего не могут? Они все слабые». – «Ну, придумай что-нибудь! Нельзя так!».

Антонина:

Я у станка была такая – ух! 750 веретён, вот туда смотрю, где обрыв, а здесь заправляю. Вслепую – руки сами делают. Всё бегом, бегом. Работа она ведь и заряжает. Хоть она из тебя и высасывает всё, но она и заряжает. 8 часов отработаешь, прибежишь домой, детки маленькие, в ясли, в садик, туда-сюда. Обед приготовить, ужин приготовить, бегаешь-бегаешь, вечером свалишься и уже всё. Зато всё успела. Вот как разбежишься у станка, так до вечера.

Людмила:

Когда я была маленькая, папа часто брал меня на работу. И обычно я стояла у окна и смотрела на цех: там горел яркий свет, ходили люди, что-то говорили, махали руками – для меня это было как театр. На работе у папы все постоянно курили, стоял дым. И вот я стою, смотрю сквозь дым на этих рабочих, меня это просто завораживало, я могла часами так стоять.

 **Бабушка. Влюбленный англичанин**

Надежда:

И вот революция, а бабушке Кате надо семью кормить, и она поехала к себе в село мясо купить. Мясо-то купила, а как до дома довезти? Зелёные шарятся по поездам, белые, красные туда-сюда с пулемётами бегают. И бабушка обвязалась этим ледяным мясом вокруг живота. Мясо-то она привезла, но заболела двухсторонней крупозной пневмонией. Тогда это заболевание было неизлечимым, и бабушка умерла. Она похоронена в братской могиле. На памятнике написано, что тут лежат жертвы революции.

Альбина:

Бабушка говорила, кто работать не хотел, те и были за революцию. Вот, например, сейчас возле фабрики улица Калмыковых. А бабушка их знала, этих братьев. Они были отъявленные бандиты, шпана. Бабушка видела царя и царицу, когда они к нам приезжали. Встречали их… ну вот как Терешкову. Они ехали в открытой карете. И бабушка их видела воочию. Она всю жизнь была за царя, ходила в церковь.

Римма:

Дед Птицын был очень властного характера, бабушка Мария Степановна находилась у него в полном подчинении. Как было принято в старое время, Марию родители выдали за Птицына по сватовству. А она любила другого парня, и он тоже её любил. После её свадьбы он застрелился на кладбище. Поползли слухи, и молодым пришлось переехать в другой город. И вскоре она умерла, а дед на другой женился. Маме тогда два года было.

Галина:

Как-то приехали на фабрику англичане, инженеры. Бабушка тогда была молодая, симпатичная, одевалась со вкусом. И вот один англичанин, тоже симпатичный, стал частенько проходить мимо. Посмотрит – и дальше пойдёт. А потом в перерыв подошёл познакомиться. Он не скрывал, что женат. Но у них не было детей. И он сказал: «Ты мне очень понравилась. Давай поженимся! Я с той женой разведусь. Хочу от тебя детей». Долго за ней ухаживал. Но потом началась революция, и их всех отослали в Англию, потому что здесь стало опасно находиться. Он писал бабушке: мол, приезжай, у вас там такой беспорядок, а здесь ты будешь жить в достатке, с женой я разведусь. Написал 4 письма.

Надежда:

У меня есть раритет: крючки для вязания, которым 100 лет. Их сделал мой дед на фабрике. Бабушка хорошо вязала. Вот этим крючком вязались тапочки – практически все дети в корпусах бегали в таких тапочках. В каморке было два окна высотой примерно 4 метра. И бабушка вывязывала на каждое окно по две тюлевые занавески. Только представьте! Сами занавески не сохранились, к сожалению, столько лет прошло.

Альбина:

Бабушка мне всегда говорила: «Аля, ты никогда не будешь жить так хорошо, как мы жили! Вот у тебя одно пальто, а у меня было три. В одном я ходила на работу, в другом – на танцы, а в третьем по магазинам». Рабочий день у них был длинный, конечно. Но в обед отпускали домой. «Мы, – говорила она, – поедим, деток покормим. Потом возвращаемся и продолжаем работать».

Римма:

А другая моя бабушка, Анна, работала в войну в хлебном магазине. У неё было шестеро детей. И вот однажды ей заведующая сказала, мол, прошёл слушок, будто ты отрезаешь своим детям. Как повела себя бабушка? Она скинула халатик, бросила ей на стол, повернулась и ушла. За ней потом приходили домой, упрашивали вернуться на работу – ни в какую. Она была несгибаемый характер. Мне сейчас многие говорят, что я на неё похожа.

**Мама. Всегда в одном платье.**

Надежда:

Трудно представить, как всё было устроено раньше. Например, знаете, что считалось величайшим счастьем? Попасть на *место мамки* – то есть, чтобы тебя взяли на фабрику именно на ту должность, где работала твоя мать. Вот мою маму взяли *банкоброшницей* так же, как бабушку Катерину Ивановну. И мама была счастлива всю жизнь от этого.

Альберт:

Я очень мать любил. Когда она умерла, говорил, что побегу, под поезд брошусь. Елена Платоновна, вот её короткая жизнь: война, тюрьма, муж в тюрьме, тяжёлая болезнь и кончина. И всё. Могила её под окном у нас, на Донском кладбище, она обихожена.

Галина:

Когда мама зарплату получала, это был целый праздник! Мы ехали в центр, покупали торт, ещё что-нибудь вкусное и на такси возвращались домой. Хорошее у меня было детство, которое до войны! А потом маму отправили на трудовой фронт, в Буй, рыть окопы, чтобы танки не прошли – там линия обороны была. По пояс в воде работали, под обстрелами. И мама подорвала здоровье, хотя она была крепкая, спортсменка. И в 30 лет её не стало, мне всего 11 лет было.

Надежда:

Мама пироги пекла, такие вкусные, как только она умела. Хотя и печь-то было не из чего. Голь на выдумки хитра. Особенно мы любили колобушки-преснухи. Это было какое-то таинство. Мама сначала приберёт дом, весь намоет, на руках детей отнесёт спать. Потом затворит тесто. Тесту надо выходиться, это долгий процесс. И ночью мама начинала печь, когда все спят. Где она брала силы, не знаю. Просто она любила свой дом, жизнь эту любила, отдавала всю себя нам.

Николай:

Мы все безотцовщиной росли. Матерям только с работы прийти и нас накормить, да штаны какие-никакие надеть, чтобы не с голым задом в школу шли. На большее у них ни сил, ни времени не хватало. Мать у меня ни разу тетради не проверяла. Раньше была мода, что если учитель хочет родителя вызвать, то отбирали сумку и говорили, пусть мать придёт за сумкой. И у меня отобрали, не помню за что. Дома мать спрашивает: «Ты чего уроки не делаешь?» Я говорю: «А у меня сумку отобрали, просили тебя прийти». «Сейчас побежала, ты хулиганишь, а я буду ходить за сумкой?».И не пошла. Я пришёл в школу. «А где мать?» – «Она говорит, буду я ходить за твоей сумкой». Через два дня отдали мне сумку и больше не отбирали.

Людмила:

Мама в детстве жила в Свердловске. Рассказывала, как их в 1 классе водили на экскурсию в Ипатьевский подвал, где расстреляли царя с семьёй. И учителя втолковывали, что, мол, так им и надо. А дети трогали пальцами дырки от пуль на стене и повторяли: «Так им и надо!» Такое было время, бессердечное.

Альбина:

Иногда девчонки просят: «Сбегай за капусткой». Я домой: «Мам, дай капустки!» – «Твой комсомол всю капусту у меня съел!» Но даст. Мальчишки сбегают в Лабаз за хлебцем. Мы навернём этой капусты с хлебцем и дальше работаем. Сколько мы на субботниках работали. Придём иной раз в стеклянной вате, все чешемся. Но никакого уныния. Казалось, мы можем всё время работать!

Альберт:

Мать и до войны, и всю войну работала. Есть у меня воспоминание, как я ей хлеб приносил. Пришёл, стою у проходной. Меня вахтёр увидел и посадил к батарее. Сижу у батареи, а фабрика шумит. Сидел, сидел, матери всё нет. И пошёл уже обратно, а тут она как раз бежит. За хлебом мы стояли – целый коридор очереди. Получали сразу на троих. Мать пока на работе, пока Ирки нет, я раз – отрежу кусочек. Меня нет – Ирка тоже отрежет. А потом мать придёт и делит остатки на троих. Хотя видит, что мы уже приложились. «Нас кормили на фабрике», говорит.

Римма:

Мама приходила из фабрики, садилась в кресло и сидела так полтора-два часа, глядя в одну точку, потому что у неё просто не было сил что-то делать. Из фабрики она всегда приносила коричневый кусочек маленького сахарку. Где брала, не знаю. Мы её всегда так ждали, бегали к проходной встречать. Когда смена кончалась, мы с братом туда. А идут народу-то! Тысячи, вот прямо тысячи! Мы ждём: где наша мама, где мама? И вот она через проходную идёт! Мы такие радые, мы же её редко видели вообще, она всё время работала.

Людмила:

Мама ходила всегда в одном платье. Вечером постирает, утром высохнет, погладит и на работу. Второго платья у неё просто не было. Нижнего белья тоже никакого. И мама сама шила нам рубашечки. Мне понизу связала такими зубчиками кружево, бретелечки сделала кружевные. И я когда в общей бане надевала эту рубашечку, все оглядывались, так красиво было. От мамы, помню, всегда хлопком пахло. Когда спустя много лет она заболела гайморитом, ей в больнице просветили носовые пазухи и говорят: «Там же всё забито хлопком!»

Римма:

Мама совсем немного проучилась в 1-м классе. А ей так хотелось учиться! Даже зимой она ходила на уроки, хотя обуви не было, накручивали на ноги, что могли. А в марте начало всё таять, кругом лужи. Она в чунях каких-то бегала, в школе постоянно сидела в сырой обуви. В результате простыла, и ангина дала потом осложнение на сердце. Учиться ей больше мачеха не позволила – заставила сидеть со своими детьми. Мама девчонкой восьмерых вынянчила. Помню, как мама расписывалась: она чётко знала, за какой какая буква идёт, но не могла бегло расписаться и, как первоклассница, выводила букву за буквой.

Николай:

Они были очень затюканные, матери наши. Конечно, они не женщины. Не было у них жизни практически. До войны кое-как, в работницах, потом война на их плечах. После войны, не все сейчас знают, 1946-й, 1947-й годы голод был сильнее, чем в войну саму. Неурожай был, хлеб сгорел. Они вырастили нас, но своей личной жизни уже не создали, так и остались вдовами.

**Папа. Все пришли такие.**

Надежда:

Папа два года провел в окопах простым солдатом. Наступление, отступление. Списали его от истощения крайнего, сказали, не жилец. Дома врачи посмотрели, говорят: «Неоперабельный, идите живите, сколько наживёте». А у мамы детей мал мала меньше. Что делать? Мама тогда как раз родила Галю, и у неё было грудное молоко. И она папу отпоила своим молоком. Он едва окреп – снова ушёл на войну.

Альберт:

Отца контузило в 1942 году. И, проезжая с лечения на передовую, он заехал к нам. Мне привёз духовое ружьё, оно стреляло. Мне около трех лет было.
А у нас как раз все кастрюли украли, остался один горшок из-под цветов. Дырочку мы заклеили, и в нём готовили. И я почему так хорошо запомнил-то – я из этого ружья по горшку стрельнул – и всё, варить не в чем. Это и смешно, и холодно.

Римма:

В войну отец служил интендантом эвакопоезда, который ходил из Бологого в Свердловск. Если поезд на Всполье зимой останавливался, то он через Которосль по льду прибегал домой. Приносил гостинец: то копчёной колбаски, то маслица – это был праздник. Всё съедалось тут же, так как он приносил очень немного. А потом кто-то донёс на него. Пришли с обыском. Но ничего не нашли. Отец был честнейший человек и не позволил бы сделать что-то противозаконное, хотя его собственная семья голодала.

Людмила:

Папа большой юморист был. Один раз мама заходит в нашу комнату. А у стола сидит какая-то женщина. Двери-то не запирались. На женщине мамин сарафан почему-то, платочек. Отвернулась от двери и сидит. Мама гадает: кто же это такая? Подходит, заглядывает в лицо, а это папа! Нарядился, чтоб её насмешить. Работницы на фабрике его любили очень, потому что он к каждой подходил с юмором. Вот она не в духе, усталая, а он пошутит – и всё, у неё от души отлегло. В Лабаз придёт, продавщица, если старая, он назовёт её «девушка» или «молодушка». Та глаза вскинет, а он ещё скажет что-то, чтобы её зацепить. Папа любил рыбачить. Прозвище у него было – Севка-треска.

Римма:

Когда немцы подошли к Москве, и все ждали, что они вот-вот появятся и в Ярославле, соседка тётя Маня Козлова всё время нам кричала через забор: «Вот придут немцы – выдадим вашего отца-коммуниста!».

Вячеслав:

Мать жила на улице Софьи Перовской. Знаете? Длинная такая: за домом Коллектива начинается – и до самой Чёртовой лапы. Так вот, у них со всей улицы с фронта вернулось только двое. Один почти сразу умер от ран. А второй, значит, остался. Мой отец. На свадьбу они сварили чугунок картошки в мундире – вот и всё угощение. А нет, ещё хлеб был.

Галина:

У многих одноклассников отцы пили, потому что они все прошли через войну, через этот ад, и найти себя в нормальной жизни без алкоголя… Ведь фактически их приучили к этому: в бой не шли без армейских 100 грамм. У всех знакомых все пили. И как-то привыкли и их жены. Другой жизни не было, нечем заняться, никакого досуга. Ничего людям не дали, особенно тем, кто прошёл войну. И быт неустроенный, и привычка выпивать. Им очень сложно было. Это я сейчас понимаю, а в то время я отца, честно говоря, даже ненавидела. А когда мне было 11 лет, отец решил свести счёты с жизнью, он удавился.

Людмила:

Папа был весёлый, красивый. И, видимо, за красоту его прозвали Тарзаном. Он служил на флоте. И очень любил стихи Есенина. Как выпьет, всё читал их вслух. Один раз его даже забрали в милицию за то, что он стоял на крыльце Дома культуры и читал: «Советскую я власть виню, И потому я на неё в обиде, Что юность светлую мою В борьбе других я не увидел». Кто это тут про советскую власть что-то кричит? И забрали.

Надежда:

После войны все пришли такие... Люди отпускали страх, боль. Где-то за пределами меры, может быть. И женщины брали всё на себя, чтобы поддержать этих мужчин послевоенных. А наш папа даже не ругался матом. У него такое слово было ругательное почему-то – «аккордеон». А сам-то аккордеон появился уже позднее в обиходе. Папа плясал очень интересно, по-скоморошьи. Всякие коленца выбрасывал – в памяти это осталось.

Людмила:

В последний год жизни папа сказал: «Я уже не хочу жить». Он сохранял рассудок, ходил на своих ногах, и всё нормально было. Но он говорил: «Мне неинтересно. Я выхожу из дома – и мне не с кем здороваться». Когда-то все его знали, и он всех знал, и вот его поколение ушло. Он говорил: «Я выхожу – и я как в чужом городе, как в чужом мире, как на другой планете. И мне незачем жить здесь».

**Война. До сих пор дрожь**

Альбина:

Я была маленькая, но я помню ужас эвакуации. Это был октябрь, уже к ноябрю. И это была последняя баржа. Там уезжали в основном женщины – тоже с детьми, со стариками. Но у всех небольшой скарб, а мама притащила даже швейную машинку! И эти женщины на барже так её ругали.

Было очень тесно, сидели впритык и старые, и малые. Дети все плакали. И женщины тоже. Поплыли вниз по Волге. Возле больших городов всегда бомбили, особенно у мостов. Когда бомбили, бабушка нас прятала под подол. Юбки были длинные тогда. Бабушка молилась: «Только бы всем вместе погибнуть!».

Галина:

Шла из школы, и вдруг в небе загудели немецкие бомбардировщики. Летели по 3 в ряд, всего 9 штук – бомбить железнодорожный узел. Я так испугалась, скатилась в канаву, стянула с себя красный беретик, спрятала в карман, думала, что меня в нём обязательно заметят*.* И так низко летели, я даже увидела лётчика, а на крыльях – кресты. До сих пор дрожь, как вспомню.

Евгений:

Фабрику часто бомбили. Но ни разу не разбомбили, потому что зенитки стояли на всех фабричных башнях. Помню случай, я взрослый был уже, кабель проводили и нашли неразорвавшуюся фугасную бомбу большую. Во время войны вошла в землю, там и осталась. Естественно, эвакуировали всех рабочих. И её с большим почётом военные сапёры извлекли, вывезли и взорвали где-то за городом.

Римма:

Во время войны я сама ходила в садик и сама возвращалась домой. Однажды иду зимой, и вдруг – гудки: «Граждане, в городе воздушная тревога». Я встала около пруда напротив школы и думаю, куда идти: домой или обратно в садик? И побежала домой... У нас прялка была, она и сейчас у меня на чердаке лежит. Тётя пряла, мама вязала, и они отправляли всё на фронт. Шерсть они получали, пряли носки, рукавицы. Шили кисеты, мама их вышивала. Ещё мама вязала платки, такие красивые, большие, и продавала их на рынке.

Галина:

Один раз летал над фабрикой фашистский самолёт и очень неприятно гудел. Детей было много во дворе, и сразу мальчишки кто камнем, кто чем стали кидать. Протест так выражали, по-своему, по-детски. У нас в доме бомбоубежище было, и там стояли, как в детском садике, раскладушки такие небольшие. Вот на этой раскладушке закутают – и спишь. Мы ходили в госпитали с концертами. Мама меня научила петь «Заветный камень», это про Севастополь песня. Я пела, а раненые плакали.

Людмила:

22 июня 1941 года маме исполнилось восемнадцать лет. Именно в тот самый день. И она, как все девочки, тут же пошла на курсы медсестёр. Потом подала заявление на фронт. А в ней веса 40 килограммов было. И военком, посмотрел на неё и говорит: «Никакого тебе фронта, останешься здесь, санинструктором». А эшелон, на котором остальных девчонок отправили, попал под бомбёжку. И кто там выжил, я не знаю.

Надежда:

В войну тётя Поля работала медсестрой в военном госпитале. И там она познакомилась с одним раненным. И так они влюбились друг в друга, что она ушла за ним на войну. А он разведчиком был, ноги ему потом отрезали. Но они, как два лебедя, шли по жизни, не отпуская друг друга. До самого конца. Я такого никогда не видела. Детей у них не было.

Галина:

В конце улицы на лугу стояла зенитная батарея, несколько орудий. Обслуживали её мобилизованные девчата. Главным у них был старшина лет 45. Во время налётов, они стреляли из зениток по вражеским самолётам, но ни разу не попали. Девчата эти были расквартированы по домам на нашей улице. Одна из зенитчиц жила у нас. Через некоторое время она сказала, что демобилизуется по причине беременности. В этом ей помог старшина. И, как выяснилось, не ей одной. Хозяйка дома, где квартировал бравый старшина, тоже потом родила от него девочку Таню.

Светлана:

Дороги из Ленинграда я не помню. Только помню всё время почти – стук-стук, стрельба какая-то. Потом мы остановились. Вагон был товарный, он сверху открывался. И вот представьте – вдруг вверху появляется свет. Я только солнышко увидела, больше уже ничего не видела. Не видела, как выводили больных детей, как умерших выносили. Ничего не помню. Только знаете, что у меня осталось? Когда меня выводили, я шла по людям, а вокруг стоял стон. Очень тихий, но протяжный. Этот стон я потом всю жизнь как будто слышала. Всю жизнь. Несильный такой, далёкий.

Людмила:

Ходили в деревню вещи менять на еду. И вот мама пошла с одной, а у той грудной ребёнок на руках, махонький. Мама - в одну часть деревни, женщина - в другую. Поменяли. Встретились, а та уже без ребенка. Пошли обратно. И вдруг плач. Женщина идет, нервничает. Слезы у нее. Потом все бросила и побежала за ребенком за своим. Тащит его, говорит: «Помирать, так вместе!». Она хотела ребёнка оставить близко к деревне, чтобы деревенские услышали. Все равно ведь заберут, выкормят. А кто знает, кто оставил, тут ходят сотни людей менять.

Альбина:

Приехали в Саратов, разместились на вокзале. Очень холодно, пол каменный. Люди лежали на лавках. Многие болели, дети все кашляли, плакали. Стали голодать, вшиветь. Мама и другие женщины поняли, что надо что-то делать. Они расчертили вокзал вместе с лавками – на квартиры. Записали: квартира такая-то – эти живут, квартира такая-то – другие. Потом составили список тех, кто может работать, и пошли на местный тракторный завод, там делали тогда детали к снарядам. Маму взяли токарем. Сразу дали карточки, мыло. И люди стали привыкать.

Альберт:

Мы замерзали в войну голодные, стены у нас были в инее изнутри. Стоял калорифер внизу: топит труба, греется воздух и по всем каморкам идёт. Но пока дойдёт до 4 этажа, там один только холод дует и дым из этого калорифера. В корпусе были две общие кухни. Мы там грелись.

Римма:

В войну мама со мной намучилась. Мы жили в каморке, которая вообще не обогревалась. Вот если останется вода в стакане, утром встаёшь – в стакане лёд. И я была вся простужена, у меня были одни чирьи, мама говорила: с куриное яйцо. В больнице мне режут, а там тут же новый появляется. У меня вся спина такая. Я стыдилась всегда загорать.

Галина:

В войну, я помню, всё время было очень холодно, не хватало тепла. Угол комнаты весь промерзал, и жили мы на кухне. При высоком общественном положении мамы могло бы быть и лучше, но вот так. Когда наступала зима, многих старушек приходилось спасать. Мама говорила: «Сегодня у меня рейд». И шла по каморкам. Старушки забирались в сундуки – там потеплее, и бывали случаи, что выносили их оттуда уже неживых.

Светлана:

В справке написано, что я была взята на воспитание Трохановой Юлией Андреевной, которая работала на фабрике «Красный Перекоп». Я её потом бабой Юлей звала. Помню, как в первый день она мне сказала вечером: «Повернись на бок и спи». Баба Юля была неграмотная, работала простой ровницей. У неё муж был на войне, а над кроватью висел снимок ребёнка, похороненного в гробике. Я этого тогда не понимала. Долго-долго этот снимок помню.

Нина:

Война меня застала на 2-м курсе, на практике под Москвой. По радио объявили, что внезапно напал враг, но победа будет за нами. Везде стояла тишина. И одни слёзы. С нами были ребята с 4-го курса, и они пришли прощаться – все уходили на фронт, даже домой не заезжали. И тут мы почувствовали, что значит «началась война». На фабрике, где мы проходили практику, царила полная суматоха. Руководителей мужчин никого – они один за другим шли в военкомат. Ни мастеров, ни начальников – никого не осталось. И мы не знали, к кому обратиться: одни женщины, и все плачут.

Альбина:

Нам предлагали перебраться в Энгельс – на другом берегу Волги. Это была немецкая вотчина, а всех немцев выселили в Казахстан. Много осталось брошенных домов. Но они стояли без окон, без дверей. И мы решили остаться на вокзале. Женщины целыми днями работали. Старики занимались уборкой. Две печурки были на этом вокзале, их топили. А бабушки сидели с детьми. Год мы там прожили. От папы не было никаких вестей.

Александр:

Нас нагнали много – около двадцати тысяч первозванцев. Почти друг на дружке спали, щели не было. Встанешь ночью в туалет, потом уже на это место не ляжешь. Был у меня мешочек с сухариками, мы их делили с приятелем из моей деревни. Промучились мы в этих учебных лагерях неделю или месяц, не помню. Потом приезжает лейтенант. Значит, всех выстроили. Встал он перед нами: «Нда, ну и солдат нынче пошёл, как воевать-то с вами?». А мы все маленькие, щупленькие. Дома-то жрать тоже нечего. Ну, что же делать, стал выбирать из того, что есть.

**Голод. Маленький довесочек.**

Антонина:

Пришли, выгнали семью на улицу, искали какое-то золото, ещё чего-то. Забрали всех, только маму с братом оставили. Ей было пять, а он ещё младше. И вот они ходили, собирали куски. Им много давали – и пироги, и всё. А они наберут полную котомку, и эти куски у них там плесневеют. И они снова идут просить. Им говорят: «Ребята, неужели вы уже всё съели?» А они-то маленькие совсем, глупыши.

Альбина:

Когда вернулись из эвакуации, мы особо не голодали. У бабушки был сад, мы сажали овощи, фрукты. А ещё мы держали поросёнка. И собирали для него помои. Я помню, как ходила по помойкам. У меня были два ведра из жести. И вот когда я эти вёдра несла, там плавали корки мандариновые. Я останавливалась, пальчиком водила по ним, но не решалась съесть, хотя хотелось безумно. Вспоминала, как раньше в Новый год мама подвешивала нам мандарины на ёлку, а мы срезали их ножницами с верёвочек. И ели, ели…

Нина:

Прислали к нам из Ленинграда ребят из ФЗУ. Они голодные, один другого меньше, родители неизвестно где. Я не знала, как к ним подходить – то ли как к детям, то ли спрашивать с них. А они на меня смотрели такими глазами… ну как на мать. Хотя я была ещё совсем молодой. Что я могла сделать для них? В то время в станках была шлихта – клейстер, которым пропитывали нити основы. И я сказала мальчишкам, чтобы они утром приходили пораньше, брали эту шлихту и ели. Видели бы вы, как они её уплетали, вот так – горстями… одни слёзы!

Альберт:

К соседям приехал с фронта танкист в форме. Высокий, здоровый. А такая нищета была, я заходил, просил очистки у них. Они брали очистки для скота, мыли, сушили и ели. И вот я опять прихожу: «Тёть Варь, дайте очисток поесть». А они горькие… Танкист посмотрел на это и прямо с гранатой пошёл в обком. Говорит: «Мы там воюем, убиваемся, здесь у меня трое детей, а вы…». Их обеспечили на время, он ушёл на фронт и погиб.

Светлана:

В корпусах многие были из сельской местности. Что-то им присылали из дома, какие-нибудь морковинки. И вот у кого немножко было, сварят и мне дают. Старались не то что накормить, и не было ведь, чтобы вдоволь накормить-то, просто поддержать. Очень голодно было, ведь за нас, блокадных приёмышей, ни грамма не давали. И за 2-3 дня до получки у нас дома просто нечего было есть и негде было взять. Соседи знали, что у нас нет еды, и иногда просто говорили: «Светка, там суп остался вчерашний, попробуй, не прокис ли». И я весь съедала.

Мы привыкли голодать, наше поколение. Но мы никогда не просили, не ходили с протянутой рукой, нет – это молчок. Сидели, пока что-нибудь не дадут.

Римма:

Всё моё детство прошло в мыслях о еде. Всё время хотелось есть, есть, есть хотелось. Не было чего есть. Жили очень трудно. Вот бабушка нам скажет: «Чем же я вас сегодня буду угощать? А вон чибрики на печке. Полезайте, возьмите по штучке». Чибрики – это такие оладушки из картошки мороженой, перекопанной в поле. 1947 год тоже был такой голодный. Я ходила с карточками за хлебом. Уже не помню, сколько грамм давали на каждого. Я разрешала себе съесть по пути, только если был довесок. А их давали очень редко, и он такой был маленький, этот довесочек. Дома хлеб сразу делили всем по порциям.

Антонина:

Меня на фабрике, знаете, как ловили? Подойдут: «Новикова! Опять с конфетами!». А у меня конфеты под станок падают. Мастер подойдёт и в карманы ко мне: «Это что опять?». А у меня голодное было детство, всё время есть хотелось. И вот я себе грамм триста конфет положу и хожу, радуюсь. «Весну» чаще всего покупала, а ещё вот те — рубль девяносто они стоили — вишнёвые, лимонные, помните? Я их килограммами покупала! Везде напрячу. Я бы и сейчас поела — да нет. У меня диабет, сахар зашкаливает. Настолько вкусные прямо, ой, я не знаю!

**Фрицы. Мы не Гитлер**

Александр:

Повезли нас на вокзал. А зима уже, холод. Одеты мы, кто во что. У меня, помню, шапка была чья-то чужая, военная. Порвана вот здесь, вата торчит. Идёт мимо женщина с мальчонкой. Он ей и говорит: "Мам, фрицы-то какие жалкие!" Погрузили нас на открытые платформы, повезли. Никаких тебе вагонов. Подзамёрзли, конечно, но ничего.

Римма:

Два пленных пришли к нам в дом, не запиралась ни калитка, ни крыльцо. У одного рука перевязана через шею грязной чёрной тряпкой. «Матка, хлебца! На миль, на!» И вот такой кусочек мыльца держит на ладошке. Наверное, третья часть ладошки. Мама говорит: «Мыла мне не надо, у нас щёлоку вон целая бадья».

Щёлок – это зола замоченная, бельё стирали золой. «А хлебца нету. Вот зачем вы убили отца? Сирот оставили». – «Мы не Гитлер, мы не Гитлер». Мама тогда мне и говорит: «Полезай, Римма, достань фрицам чибриков. Две штучки». И вот эти два чибрика мама подала им. И они тут же во дворе их съели. Не знаю, поняли они или нет, из чего эти чибрики были. Но съедобные, съели тут же.

Альберт:

Припоминаю смутно, как сидели у нас в корпусе на кухне пленные немцы. Они работали и приходили зимой погреться. Я там бегал. Мать не разрешала, но я всё равно бегал, подбирал папиросы после немцев, и – в рот. Мать подбежит, нашлёпает. Но что я понимал-то? Не знаю, где они жили. Но помню, грязные сидели, усталые.

Галина:

В новогодние дни отключили у нас свет. А на ёлке свечи горели. Дверь дома не запиралась. И вдруг к нам заходит в темноте немец. Шёл мимо, увидел ёлку. И вот он заходит и по-своему что-то говорит. Мама положила в кулёк картошки и подарила ему. Эти немцы пленные рыли какие-то канавы, а мы, дети, туда бегали, носили им кусочек хлеба и зелёный лук. Они нам фотографии показывали своих детей, у кого были. Не было ненависти, представляете. У детей ненависти не было.

**Корпуса. Всё впритык**

Альберт:

У корпуса летом стрижи летали, пищали. Там ниши были, где они жили. Мы их видели, как они выглядывают, маленькие. У нас в каморке даже розетки не было. Висела 25 ватт лампочка и всё. Отец не мог придумать, что надо на патрон её посадить, чтобы и лампочку, и плитку включать. И вот что-то жарить на плитке – свет гаснет, и темно, только эту плитку и видно. Потом появился электрик, у него имя было поэтическое – Пушкин. И он сделал нам патрон и провод на плитку. Ни телевизора, ничего не было, радио только. В углу у нас динамик стоял на ножках, круглый металлический. И вот Хор Пятницкого поёт, а я не понимаю: где же они? Думал, что под приёмником – сейчас открою, а они там все маленькие на сцене стоят.

Светлана:

После войны было много одиноких женщин. И меня в корпусах привечали две вдовы – Дашонка и Петровна. Привечали – то есть приглашали, принимали. И любили. У них не было никого своих. Как и у меня. И вот они меня звали к себе, сажали за самовар, наливали чай. Помню: баранки, сахар, его специальными щипцами кололи. Мне так нравилось! Они учили меня петь частушки. Но мне больше нравились печальные песни. Их они тоже часто пели.

Антонина:

Нас жило вместе восемь девочек. Спали по двое на кровати-полуторке. Комната такая узенькая, здесь две кровати и здесь две кровати, а посерединке столик. И печечка в конце. Потом к нам поселили еще киргизок-девочек. Одна – Машей мы её звали – понимала по-русски, она была раньше учительницей. А вторая придёт, сядет и сидит — только улыбается. Мы что ей ни скажем, она всё: «Салам акектым! Салам акектым!». А мы откуда знаем, что она говорит? Потом Маша придёт, всё нам переведёт.

Людмила:

Мы жили в очень маленькой комнатке. Помещалась в ней только кровать. Братишка был постарше, он с мамой спал рядышком, я поселялась в ногах. А папа у нас под кроватью спал. Иногда разыграемся-развозимся, а он снизу стучит: "Эй вы, галёрка, потише!" А через занавесочку – жила другая семья. Всё впритык, всё вплотную, но, тем не менее, порядок был, уют своеобразный, чистота идеальная. Никаких там животных, ничего не бегало, хотя быт был не шибко какой обустроенный. Я помню годы, проведённые в корпусах, как самые счастливые. И папа молодой, и мама молодая, и всё в жизни понятно.

Галина:

Промежуток между корпусами (сейчас нелицеприятное скажу) назывался «*говёшка*», потому что это вот всё самотёком текло в бочку, которую потом вывозили. Зимой помню субботники. В туалетах, где замёрзли нечистоты, мама с другими женщинами откалывали лёд. Потом на телеги, на розвальни складывали эти глыбы и увозили. К весне так готовились. Отходы пищевые собирались в *окорёнки* – деревянные чаны с крышкой. У фабрики было своё подсобное хозяйство, и эти отходы отправлялись туда.

Вячеслав:

Вот дом-то, представляете, у меня он весь в памяти. Шестьдесят восемь каморок, общий коридор, общая печка. Здоровенная такая, высокая, восемь конфорок. И готовили, и бельё там сушили, и детей мыли зимой. Кухня большая, столы общие. Жили, можно сказать, коммуной. Стояли у нас две *окорёнки*, бочки такие, в них отходы пищевые собирали. Потом частники их забирали, раньше ведь многие держали и поросят, и кур. И нам за эти отходы какие-то деньги приплачивали. Эти деньги копили и покупали, например, свой патефон, общий на весь дом.

Людмила:

Я любила сидеть в кочегарке. Там работал такой дядечка. Мама приходила с работы поздно, часов в одиннадцать, и я её всегда ждала. И чтобы как-то коротать время – не было ведь телевизоров – я в кочегарке сидела. Помню печку, огонь, дядечка мне что-то всё рассказывал… Совсем маленькой я на колонку ходила с коромыслом. Два ведра стояли в коридоре. И вот я с этими вёдрами. Соседки говорили маме: «Что ты делаешь, зачем её посылаешь за водой, это тяжелое всё». А она: «Ничего страшного».

Галина:

В корпусах рядом с нами жили и тюремщики, и пьяницы, всякий народ. Но хоть бы один как-то меня оскорбил, обозвал или ещё что. Никто никогда никакой подлянки не подставил. Все сочувствовали, говорили: «Галя, если тебя кто будет обижать или приставать – ты просто пригрози: мол, расскажу Вовке такому-то! От тебя тут же отойдут!»

Людмила:

Если требовалось устроить большую постирушку – ходили в прачечную. Мама всегда говорила: «пойду пораньше, займу *окорёнок»*. Так назывались лохани для стирки, каждая со стиральной доской. Обычно эти постирушки занимали у женщин половину выходного дня. Забирать маму приходила я после школы. Помню: заходишь в полутёмное помещение, вокруг пар, жарко. Женщины стирали, раздевшись, в трусах и бюстгальтерах. В полумраке, в этом пару все они казались на одно лицо. И вот я вечно бегаю среди них, ищу маму. Потом корзину мокрого белья мы с ней тащили домой.

Антонина:

Подселили к нам через занавеску семейную пару. У них ребёнок и у нас ребёнок, и всегда чьё-то дитё орёт. И при этом никогда не ругались. Только у меня муж был ревнивый. И если мне надо кормить ребёнка, а там сосед пришёл с работы, то у него всё бурлило, конечно же. Занавеской-то, считай, не особо прикроешься, марлевой.

Вячеслав:

Были народные суды, если кто-то себя плохо ведёт. Прямо в корпусе собирались. В коридоре ставили лавочки, столы, стулья и обсуждали человека, который нахулиганил или пьянствовал. Все вокруг смотрели, осуждали, выносили ему приговор. Не доходило до тюрьмы, но было общественное порицание и трудовые наказания. Например, мыть полы в течение недели во всех коридорах, а коридоры длинные были в корпусах. И если кто моет пол, то все знали, что это пьянь или дебошир.

**Пьянство. Все качаются.**

Александр:

Жизнь была довольно кропотливой, тяжёлой. Пьянствовали на работе. Прихожу в цех, а мне говорят: вчера мастера напились пьяные. Три женщины, хорошие такие, а вот ведь. Напились, а кто напоил – неизвестно. Я дождался, пока пришли на работу мужики – поммастера, таскальщики, подсобные рабочие. Пригнал всех в кабинет к начальнице, чтоб авторитетнее было. «Ну, говорю, кто зачинщик? Если скажете, никому ничего не будет». Сидят, молчат. «Ладно, говорю, пора вам на работу. А ты, Станислав, иди забери свою трудовую книжку. Ты с сегодняшнего дня не работаешь». А этот Станислав был здоровый такой мужичина. Он мне: «Сан Николаич...» Я говорю: «Всё, закончили. Ещё кто попадётся, судить будем».

Дня через четыре я этого Станислава встречаю у Лабаза. Ну, думаю, поколотит меня сейчас. А он мне: «Сан Николаич, ты как же угадал? Ведь зачинщиком-то был я». Тогда, говорю, я позвоню в профсоюз, пускай примут тебя обратно. Иди, работай. А пей дома. Всё, с тех пор тишина стала, дисциплина. Научились не пить на работе.

Альбина:

Работали у нас одни алкоголики. Иной раз приходишь на работу – видишь, человек даже на ногах не стоит, доходило и до такого. Мы тащили его в медпункт, где фельдшер давала ему нашатырки, а потом отправляли на полдня спать. Проспавшись, за оставшиеся полдня он вырабатывал норму полной смены. Так и работали.

Антонина:

Я зашла в общежитие, а там хоть топор вешай, дыму столько. Все сидят, кто курит, кто пьёт. И это женское общежитие-то! Для меня это был шок, я же из деревни! Ну, потом, конечно, привыкла ко всему. Когда папа приехал сюда первый раз, он сказал: «Тебе лучше уехать». – «А что такое, пап?» – «Да тут женщины пьяные ходят».

Николай:

Всё делалось для рабочих, чтобы отвлечь их от пьянства. И пили гораздо меньше. В Рабочем саду торговали водкой и пивом. Но норму давали для взрослых — стакан водки и кружка пива. И всё. Ходили не то что пьяные, но навеселе.

А когда Горбачев сухой закон ввёл, у нас на улице каждый третий с ног валился. Особенно после получки идёшь — все качаются.

Нина:

Особенно непростыми были ночные смены. По ночам-то у них как раз самые пьянки. Один раз я пришла в полпервого на фабрику. Открываю дверь – у них стоят бутылки, и уже все во хмелю. Я говорю: «Добрый вечер!» Куда только девалось их веселье? «Михална… ты пришла?» Один на другого смотрят: «Как быть-то?»

Альбина

Была у меня в цехе работница – молодая, красивая, добрая. Но выпивала и без конца прогуливала. При этом работала хорошо! Норму выполняла. Прогуляет – выйдет в выходной или сверхурочно и всё сделает. И вот она в очередной раз прогуляет – мы её в перерыв вызываем и всем коллективом стыдим. Буквально все рабочие включались в эту обработку. Она всем слово даст, поулыбается, но… Не смогли мы ничего сделать. Предлагали ей полечиться – не захотела. В итоге всё-таки ушла с фабрики. Сама. Но мы её долго держали. И вообще старались никого не выгонять сразу, жалели. И многих так спасли.

Людмила:

Вода на кухне текла еле-еле. За отоплением в доме следил кочегар. А он – то трезвый, то пьяный. Иногда придёшь домой – холодно! Значит, напился. Приходилось идти в кочегарку и самим уголь накидывать. Тяжело было, но сейчас вспоминаешь: всё-таки было хорошо.

Антонина:

Один праздник запомнился в клубе, где сейчас церковь. Тогда закон трезвости вышел. «Трезвость – норма жизни». И всё было запрещено. Но мы же русские люди, нам же «немножко» надо. И мы одного человека командировали. И вот подсаживается к нам сам директор фабрики и спрашивает, знаете, с хитрецой так, с подвохом: «Что это вы такие весёлые?». Мы в ответ: «А чего нам грустить-то?».

Вячеслав:

Раньше корпусных все боялись, потому что отчаянный народ был. Могли подраться. У нас в корпусе в основном жили грузчики. А они все – ух! Мужики! Они крючком закинут кипу хлопка на спину и несут. Такие силачи были. Как только получка – так напивались. И все боялись. И не то что там до поножовщины, но помахаться кулаками могли, мало не покажется.

**Драки. Ногами не били.**

Светлана:

Однажды был случай. Я иду, лет 12-13 мне. И два мужика навстречу. А у них здоровая собака – овчарка. Ну, я прошла мимо, иду дальше. И вдруг меня как сшибут сзади! Собаку натравили на меня – и смеются! На ребёнка, на девчонку. Я упала, сильно испугалась. Они ржут. А я что? Дальше побежала.

Николай:

Бабёнки могли, конечно, поскандалить, женщины натуры тонкие, могли и до драки дойти, накостылять за пустяк. Но случись беда какая — все бегут: чем помочь? Народ был очень отзывчивый. Вспыльчивый, но отходчивый.

Антонина:

Однажды в парке встретились мне подростки. И они на меня напали. Не ограбили, ничего. Но мне пришлось сдачи им давать! Я была одна, а их – человек 6, наверное. Я не испугалась, они ведь младше меня, за одним даже погналась. Но это так уж получилось, что одна была, а так старались не ходить по одному.

Вячеслав:

Это 9-й класс, по-моему, был. В школу пришли ребятишки: «Завтра Пятёрка приезжает, будем драться! Чтобы были!» – «Конечно, а как же». И вот на Комсомольской площади собрались все. Пришли – никого нету. Трамваи едут, проезжают. «А кто ж драться-то будет?» – «Ну, ещё рановато, пойдём на Которосль». Приходим, а там – народу! Молодёжь, да и не только. Сидят, наливают, ждут Пятёрку. Они обещали приехать на трамваях. Но не приехали. И хорошо, потому что мясилово было бы. Оказывается, их ментовка сняла с трамваев. Ведь все всё знали! Каждого вора и бандита знали в лицо. Никаких секретов.

Римма:

Ну, бывало и дрались. Мальчишки приходили к девчонкам. А у этих девчонок свои мальчишки, в корпусах. Как же, тут не подпускали никого! Всё было взято под контроль! Не подойдёт чужой кто-то там зря. Поэтому, конечно, дрались. А где парни за девчат не дерутся? Везде, господи!

Альберт:

Всё время были стычки. И вот соберутся ребята, целая котла. И идут, например, на Полянки, разбираться с поляновскими. Мы-то, помладше, идём тоже, за компанию. Ну, какие там разборки. Выйдут двое, подерутся, кто кого уронит первый. Ногами не били никогда. Уронил, разбил ему что-нито, разошлись, поорали, бывало, камнями покидали – и всё. Дружно жили.

Галина:

В клубе концерты были, мама меня всегда с собой брала. И там один раз случилась такая драка! Стрельба открылась. Участвовали в ней военные из госпиталя, которые шли уже на выписку. Они имели при себе оружие. И мама бросилась в самую середину к ним! И остановила драку. А они же участники войны. Я боялась, что её убьют. И ведь могли убить.

Александр:

Праздник зимой, Масленица. Старший брат приходит – морда разбита, руки разбиты. «А! Сёдня подрались!» Дрались фабричные с центровскими. На Которосли, на льду. Это была традиция, с до революции ещё. С городскими-то мы автоматически, на танцах дрались. Ну, кто-то кого-то задел, кто-то чего-то, и понеслось! Каждый корпус воевал с другими корпусами. Это обязательно! Маленькие что-нибудь натворят, поспорят из-за какого-нибудь червячка, потом выбегают постарше братья. Потом уже взрослые выходят, начинают друг на друга...

Галина:

Нас не трогали: маму уважали. Однажды мама идёт ночью с работы. Она курила, но скрытно, на людях не выставлялась. И вот раз – ей двое преграждают дорогу, уже у дома почти что. «Гражданочка!» – «Слушаю вас». – «А у вас закурить нет?» – «Есть». Открывает сумку, достаёт. Он чиркает спичками: «А-а! Это Третьякова. Не трогать!» Никто не обижал!

 **Воровство. Под мышку – и ноги!**

Надежда:

В войну, мама говорила, были такие случаи: поставишь что-то в печь, и стоишь, не уходишь, а открываешь – нет этой кастрюльки! Там же они были без перегородки, и другим ухватом кто-то через другую печь возьмёт. И концов не найдешь.

Людмила:

Денег не было, чтоб билет купить. Мы лазали на каток через забор. Резиновые ботики снегом немножко присыплем, коньки наденем и кататься. Однажды покатались, пришли за ботиками, а их нет — кто-то украл! И вот мы с подружкой шли домой в коньках, старались в сугробы вступать, потому что по дороге идти, ноги все навихляешь.

Вячеслав:

Привозили, помню, арбузы. Старшие пацаны устраивались их разгружать, а мы – на подхвате. Старший брат мне кидает арбуз, я его – под мышку, и ноги! Арбузов наелись! Там строгостей особых не было. Ну, 60 тонн вагон стоит – что там, пару арбузов пацаны утащат? С ними и расплачивались тоже арбузами.

Галина:

Воров много было. «Малина» была во флигеле, мы за ними смотрели в окно.

И у меня брат попал в эту «малину». Воровать не воровал, но, как говорили раньше, в «малину» был вхож. И мама его в 16 лет отправила в Ленинград, в спецшколу юнг. После он служил на флоте в Севастополе. То есть мама его спасла от тюрьмы, по сути дела.

Людмила:

У нас был Кустаревский сад, мы туда лазали за ягодами. Это было забавно и страшно. Мама знала и говорила: «Если попадёшься – я тебя спасать не буду». Однажды я потеряла сандалию, убегая от сторожа. А в Рабочем саду, в конце, за забором выращивали кукурузу. У фабрики был свой скотный двор и конюшня, и кукуруза шла на корм. Мы и туда лазали, так хотелось попробовать, что это за кукуруза. Делали в заборе дырку, доску выламывали. Лезешь, трясёшься, всё внутри дрожит, там же дежурные ходили. Но так хотелось этот початок стащить. И если удавалось выскочить – ты был счастлив. Грыз эту кукурузу, не понимая, что вообще ешь.

Антонина:

В 1990-е денег не давали. Но возили нас на уборку свеклы и картошки. Грязь, снег. Зато потом 10 рублей дадут, я такая довольная иду! Слава богу, хоть молока куплю, хлеба куплю**,** селёдину куплю, накормлю. Однажды мы капусту решили унести с женщиной одной. Украли по такому вот кочану, спрятали, едем и, представьте себе, в автобус заходит милиция проверяет. И всё, мы кочаны свои выкинули под кресла и потеряли. Так было обидно! Знаешь, что из бедности берёшь, а всё равно стыдно. В жизни никогда ничего не воровала. Теперь всем говорю: «Украла один кочан, да и тот не донесла до дома».

**Аресты. Пришёл через 25 лет.**

Надежда:

Когда советская власть победила и стала уничтожать бывших соратников, тогда вдруг выяснилось, что дед Павел в юности дружил с эсеркой Софьей. Он вовремя сообразил, что ему грозит, и отказался от каких-то показаний, которые вначале давал. Он чудом выкарабкался, его чуть не посадили. После этого он понял, кто пришёл к власти. Но ему боком вышли все эти допросы: он перенёс инсульт и умер в 40 лет. Дед не был ни большевиком, ни эсером, а был, как и многие молодые люди тогда, просто недоволен своей жизнью.

Евгений:

Дед активно участвовал в стачечном движении. Перед забастовкой 1905 года был одним из создателей стачечного комитета. Этим занималась партия эсеров и ещё какая-то, но не большевики. В 1930 году деда вызвали на допрос, и обвинили, что он состоял в партии эсеров. После этого допроса дед умер от кровоизлияния в мозг. А к бабушке пришли его товарищи по стачечному комитету 1905 года и предупредили, что скоро в дом придут с обыском, надо уничтожить все документы. У деда переписка была с Аллилуевыми, с Емельяном Ярославским, много с кем из большевиков известных. Бабушка всё это успела сжечь. И семью оставили в покое.

Галина:

Письма влюбленного англичанина бабушке дали прочитать в ЧК. Её вызвали, показали эти письма и чуть ли не в шпионаже обвинили. Она 4 дня отсидела в тёмной камере, в одиночке. От неё добивались каких-то признаний. Но очевидно, бабушка попала к такому следователю, который всё-таки понял, что она обычная рабочая. К тому же у неё уже был ребёнок. В общем продержали немного и отпустили, но предупредили, чтобы больше никаких переписок.

Римма:

Маму в 1934 году направили в Карабиху возглавить маленький молочный заводик. А в 1937 пришёл к ней какой-то человек ночью и сказал: «Я советую вам отсюда уехать». Потому что пошли аресты. Мама с папой к утру собрались, сказали, что бабушка больная, и уехали.

Альберт:

Мать с фабрики одну тряпку украла – материал. Она была неграмотная и подписала документы, где говорилось, что она занималась этим «систематически». А мать не знала, что ей там понаписали. И в итоге она села, отец остался с нами. Потом однажды возвращаюсь домой, сестра прибирается в каморке. «Что такое?» – «Приходили, отца забрали». Он рассказывал, как их содержали в подвалах. Всё с них там сняли – ремни, шнурки. Но отец рассказывал об этом с юмором даже. А мы здесь на воле приняли столько оскорблений. Меня тюремщиком все звали.

Альбина:

В войну был голод страшный, бабушку даже чуть не посадили. Чтобы как-то выжить, ровницу с комбината брали, вязали кофты, продавали на базаре. И один раз бабушка попалась. Ей там сулили большой срок, не 25 лет ли. Но она была хорошим работником, за неё заступились, и всё было пущено на самотёк.

Евгений:

Мамина старшая сестра во время войны была заброшена диверсионным отрядом на вражескую территорию как радистка. Попала в плен, в концлагерь. После освобождения тут же очутилась в нашем лагере – за то, что сидела в том. И до конца жизни она билась, чтобы доказать: она раненой попала в плен, против страны ничего не делала, фашистам не служила. Ей удалось собрать все эти документы, и за несколько лет до смерти её реабилитировали.

Римма:

По нашей улице часто водили пленных немцев. Однажды ведут их. И все из дома на улицу высыпали и смотрят. И вышла одна семья – мама и две дочки. Мама, Александра Денисовна, в школе у нас преподавала немецкий и французский. Она была бывшая княгиня. Младшая дочка у неё, Маруся, была ненормальная. Хотя она всё понимала, узнавала, можно было с ней разговаривать. И она тоже знала языки: и немецкий, и французский. И вот ведут этих немцев, а Маруся им давай что-то кричать. И охранники сразу её схватили. Хорошо, что там не только мы, дети, были, но и взрослые женщины. Они подбежали, говорят: «Что вы! Она же ненормальная, не соображает, что говорит». И её отпустили. Но вскоре пришли их арестовывать, мужа Александры Денисовны забрали, а девочек спрятали соседи. Они остались живы, но мы уже их больше не видели.

Евгений:

В 1946-м отца направили в военное училище. Начальник училища посмотрел его документы и говорит: «Прикрой-ка дверь. Знаешь что, мальчик, спрячь эти документы и езжай туда, где тебя никто не знает. Документы никому не показывай, иначе окажешься там же, где твой отец». А его отец с 1938 года валил лес по 58-й статье.

Альберт:

Один человек у нас в корпусе работал водителем. Началась война. Тогда из Америки приходило сало, такими пластами, и этот мужичок должен был развозить его по магазинам. А рядом с ним экспедитор всегда ездил. И вот однажды водитель ему и говорит: «Слушай, давай кусок сала возьмём? Что там, всё равно никто не догадается». Они взяли, разделили тут в корпусах. Стали магазины проверять - не хватает. К водителю приходят. Он: «Я простой шофёр, я за руль держусь». Милиция: «Ну, значит, экспедитор виноват». Они к нему пошли, не застали. А в корпусах-то все уже: «ля-ля-ля… к этому приходили». Экспедитор приходит вечером, ему говорят: «За тобой приходило НКВД». Он не будь дурак, бежит в военкомат и с утра уезжает добровольцем на фронт. Но его всё равно потом поймали и посадили. Пришёл через 25 лет.

Евгений:

Дед был из крестьянской семьи, с юга Пензенской области. Большое село, 500 домов, церковь, школа. Раскулачены они не были, считались середняками. Но дед любил выступать и за словом в карман не лез. Ну и покритиковал что-то в совхозе. Его забрали, а семья стала голодать. Умирали дети один за другим. Отец мой последним оставался, уже не вставал. Родственники узнали, привезли еду. Отец выжил, но так и не вырос, остался на всю жизнь маленького роста.

**Танцы. Подмигнула и пошёл.**

Николай:

Танцы я очень любил, хотя вроде не очень такой по фигуре танцевальный, но любил. Зимой заливали стадион, в центре лёд, а при входе была вытоптана большая площадка, через громкоговорители играла музыка. И мы танцевали! В валенках, в шапках, в пальто. Сейчас вспоминаю, самому смешно.

Людмила:

Многие мужчины умели играть на баянах. Выходили на площадку – и все танцевали. Пляски стояли! Веселье было! Танцевать нас никто не учил. Это всё с молоком матери в нас застряло.Редкий человек не мог сплясать «Цыганочку». В «Чайке» я начала танцевать с 7 лет. У нас было много интересных танцев. Например, «Ярославские балалайки на Луне». Начинался он так: темнота, фосфорными красками изображена взлетающая ракета. Потом включается свет, и ракета преобразуется в большую балалайку. И мы выходим на сцену из этой балалайки. В «Шпульке» мы в танце создавали иллюзию ткачества, работы ткацкого станка. Вот стоит «шпулька» – солист наш. К нему ленты протянуты. А мы, четыре девочки, под этими лентами вращаемся и из них как бы сплетаем ткань.

Вячеслав:

Во мне было много лёгкости. Сейчас меня это подводит: лёгкость пропала. А так было хорошо. Прыгалось от души, хотелось танцевать и танцевать. Лучше всего я чувствовал себя на сцене. Некоторые танцы до сих пор в памяти до движения. Очень тяжело без танцев. Мне всё сны снятся. Танцы, танцы. Чаще всего русские народные. Я до 60 лет выступал, делал все трюки наравне с молодыми. Когда зрители узнавали, сколько мне лет, они кричали: «Браво! Браво!» и хлопали, как сумасшедшие.

Римма:

Такого не было, как сейчас «тыр-дыр-дыр», я приходила с подругой, мы вальс, танго танцевали. Сначала духовой оркестр играл, а потом эстрадные стали. И мы приходим, нос воротим: «Ой, дУхи, нам не нравится! Нам подавай современное!». А сейчас слушаю дУхов, у меня прямо сердце замирает, мне настолько нравится духовой оркестр, вообще чудо какое-то… С мужем познакомились на танцах. Шли обратно с подружкой. И к нам пристали парнишки – провожать. Я посмотрела на него – вроде, парень нормальный. Подмигнула ему, ну он с нами и пошёл. Так всю жизнь вместе и прожили.

Надежда:

Детей после 6 вечера в парк не пускали. Но мы хитрые были: спрячемся и смотрим, как танцуют пары. Вальсы танцевали, танго. И все так одеты хорошо. Эти крепдешиновые платья, знаете, как в фильмах. Жили небогато, но всё равно у каждого находилось какое-то платье, которое надевали только на танцы. Живая музыка, духовой оркестр – это, конечно, всегда был праздник

Людмила:

Мы очень любили с подружкой танцевать вдвоём. Она меня водила, она была повыше. Мы и с точечками, и с выходами, и танго… Ой, девочки, такие были танцы красивые! Танец с точечками это так: три шага сделал – точечка, в эту сторону сделал – точечка. А ещё был танец: три или четыре шага вперёд, и назад – с партнёром очень трудно. А мы с подружкой… Я поменьше была её, и такая худенькая – она меня крутила только так! И когда нас разобьют, да ещё если парень не больно нравится, то мы с ней так жалеем, что не друг с дружкой танцуем – такой танец пропадает!

Антонина:

Какие танцы! Если вечером погуляем, нам хозяйка такой втык даст! Она нас так сторожила, гулять не отпускала! Мы только задержимся, сходим с трамвая. Туфли в руки — и бегом до нашего дома, чтобы от парней убежать. Потому что куда ни придём, везде парни к нам. От хозяйки за такое попадало! Она сразу приходит: «Всё! Подыскивайте другую квартиру!». Постоянно нас сторожила, такая была бабушка Яковлевна. Прям как мама, ругала за всё.

**Игры. В котёл!**

Римма:

Помню, мне купили пупсика на рынке, на Сенной. Ой, как я радовалась! Так-то мы кукол шили сами. Руки, ноги из тряпочек, волосы с фабрики. Ниток попрошу, папа с работы принесёт. Косы ей заплету. И этими куклами играли, платья им шили. Ничего не было: ни игрушек, ничего.

Вячеслав:

На «концах» – так назвались площадки на первом этаже. Вот там садились. Газету постелят, чтоб карты не пачкать. И начинают. Кричит, кто за кон: «В котёл!». На верхней карте кончил – все добавляют, ты – нет, среднюю кончил – берёшь половину, остальные все добавляют. Кончил – весь котёл забираешь. Тоже были там свои профессионалы, кричали громко.

Людмила:

Были у нас такие смелые девчонки, не говорю уж про мальчишек, которые могли прыгать аж до 2-го этажа. Брали где-то пару-тройку кирпичей, потом находили хорошую доску, и с одного конца кто-то прыгает, а на другом конце человек подлетает. Я боялась.

Николай:

«Расшибалка» весной начиналась. Когда снег стает, находили сухое место, где земля просохла, и это… На деньги играли, милиция запрещала. Бывало, нагрянет, разгонит. В «шары» зимой играли. В валенках. Специально точили шары, у меня был из берёзы карельской. Их красили. Кто-то из текстолита точил, чтоб тяжёлый был. Первый запинывает шар, потом второй своим шаром бьёт по первому. Не попал – его шар остаётся на поле и третий бьёт. Если попал, то берёшь деньги. Милиция тоже запрещала, шары отбирала.

Людмила:

Среди нас была одна девочка, постарше нас, она всегда что-то придумывала. И однажды она говорит: «Ребята, пойдёмте на рынок копать». Там же деревянный настил был, деньги у людей падали, мелочь-то. Сколько мы нагребли! У всех были карманы набиты этой мелочью, всякой: и советской, и старинной. А тогда все играли в расшибалку на деньги. А тут даже играть стало неинтересно, потому что у всех было полно этой мелочи.

Альберт:

С детства я увлекался техникой, придумывал, лазал по помойкам, находил моторчики, детальки какие-то. Сам сделал наждак, мне было, наверное, лет семь или восемь. В корпусе все ко мне: «Алька, поточи ножи». Я выходил с этим наждаком, на ларь ставил его и точил всем ножи. Когда мне было пятнадцать лет, мне купили велосипед, и я собрал газовый моторчик из запчастей. Моторчик на велосипед поставил, и мы всем корпусом на газовом велосипеде катались.

**Школа. Окна светятся**

Светлана:

У меня у самой первой из класса появилась автоматическая ручка, с резиновой пипеткой – чернила набирать. Все писали пером, а я училась хорошо, вот мне и подарили – от школы. А учительница по русскому у нас такая была строгая. И вот она пошла по рядам, увидела у меня эту ручку, отобрала и в окошко выбросила, со второго этажа. Хорошо, ни в кого не попала. Я так плакала! Ведь это был подарок. Он мне был так дорог.

Николай:

10 класс я заканчивал в школе рабочей молодежи. «ШаРеМе, ты моя, ШаРеМе!». На стройке работал, целый день на холоде, на морозе. В школу приду, там батареи такие ещё старые, круглые такие. У окошка сяду и засну. И сквозь сон слышу: «Пускай спит, не будите». Но закончил я эту ШаРеМе и поступил в пединститут. С нашей улицы Пестеля я был единственным, кто закончил 10 классов.

Людмила:

У одной девочки был проигрыватель и пластинки. И вот мы его принесли на мероприятие и оставили в школе. И на переменах танцевали. Да-да! Перемена, как положено, минут 5. Но мы умудрялись танцевать. Закрывали дверь шваброй. Помню, танцую я с молодым человеком, и кто-то дверь пытается открыть. Отперли. Заглядывает учитель математики Михал Палыч. Посмотрел, говорит: «Как вы хорошо танцуете. Ну ладно, ещё 5 минут потанцуйте!» Мы, довольные, дотанцевали. И потом с таким удовольствием слушали Михал Палыча.

Надежда:

Про нашу школу была такая присказка: «Школа номер 32 стоит у самого пруда». Мы всегда это кричали, а потом добавляли: «И никто не догадается столкнуть её туда». На переменах сдвигали столы, играли в теннис. Школа в то время – это была и учёба, и дружба, и любовь, поистине дом родной. Гуляем с подругой, смотрим: окна в классе светятся. Заходим, а там наши мальчишки с гитарами. Нас пускали в школу. Вечером? Пожалуйста! Приходи.

Альбина:

На новогодний вечер в 10 классе пригласили мальчиков из соседней школы. Это был последний год раздельного обучения. Учительница литературы задумала костюмированное представление – оживить отрывки из романов. Для этого заказали костюмы в настоящем театре. Гере предложили роль Печорина и право выбрать себе княжну Мэри. И он выбрал меня. Я была такой красивой Мэри – розовое платье в пол. Мы должны были станцевать вальс и произнести диалог. А он танцевать совсем не умел! И его целый месяц старшая сестра учила вальсу. И научила. Даже ни разу на ногу не наступил. В отличие от героев Лермонтова у нас всё сложилось замечательно.

 **Любовь к искусству. Книжка под одеялом**

Николай:

В церкви Петра и Павла был художественный кружок. Вёл занятия настоящий художник. У него была мастерская, большая комната. К восьми утра мы приходили зимой. Он нас сперва не пускал. И, знаете, почему? Он, когда включал свет, пол был серый. Это было море крыс! И этот шерстяной ковёр сметался, когда включали свет.

Людмила:

Бывало, мы пробирались и в настоящий кинотеатр. У нас не было денег. А хотелось посмотреть какой-нибудь фильм. Я могла без стеснения подойти и попросить: «Дяденька, тётенька, проведите, пожалуйста, в кино!» Билетёрши знали, что мы не их дети, мы дети общие. Но всё равно пропускали. Помню фильм «Ленин в Октябре». Там бегал крестьянин с чайником, искал Ленина. Это всё попадало прямо в сердце. Он искал, мы за него волновались: найдёт ли? А уж когда Чапаев переплывал! В него стреляли, пули летели… ой, успеет ли? Не погибнет? Утонет?

Галина:

На детской площадке стояли лавочки. Когда нам было лет 15, мы всё время на этих лавочках сидели и читали какие-то «взрослые» произведения, прячась от взрослых. Рассказы Куприна, например, или небольшие рассказики интимные, неизвестно чьего авторства – они все были от руки переписаны. Иногда до самой темноты читали, светили себе фонариком. В книжный обязательно заходили. Там продавались детские маленькие книжечки про Ленина, стоили 3-5 копеек. Я их собирала.

Римма:

Я всегда читала много. С шести лет меня привели в библиотеку. «Красную шапочку» я первую книжку взяла, а вторая была «Конёк-горбунок». Иду по дороге, читаю. Улица, она длинная мне тогда казалась. До самого корпуса иду, читаю. Вот отчего в очках хожу всю жизнь, потому что читаю. В туалет идёшь с книжкой, под одеяло ляжешь с книжкой. Ой, мама всё время ругалась: «Опять ты с книжкой? Ослепнешь!»

Надежда:

Я несколько лет ходила в театральный кружок в Доме культуры. Помню, играла Зою Космодемьянскую. Мне мама нашла отцовские ватные штаны, фуфайку, шапку. Я такая вся героическая, такие стихи… Выхожу – а в зале смех! Дети увидели, что я как чучело огородное одета. Сейчас мне, конечно, смешно, а тогда было очень обидно!

Людмила:

Помню тот день очень хорошо. В классе передо мной сидел Витька Шубин. И вот он вдруг поворачивается и говорит: «А я в художку записался». А что это такое? Я даже не представляла, что такое «художка». А Витька не говорит! Еле дождалась перемены, а он стал от меня бегать! Я по всей школе за ним носилась, чтобы узнать, что такое «художка». Только под конец перемены получила ответ. И в тот же вечер – еле дожила! – я папе говорю: «Пошли искать художку!» И мы пошли. Приходим, а там Пётр Иванович, любимый мой на всю жизнь преподаватель. Я ему, значит, рассказываю, а он спрашивает:

– Где живёшь?
– Около парка.
– Стульчик папа может сделать?
– Может.
– Планшетик может?
– Может.
– Ты порисуй, у тебя такое место там красивое, и придёшь ко мне в сентябре.
Я в слёзы:
– Вы меня не берёте?
Как они меня вдвоём успокаивали, я эти эмоции до сих пор помню.
– Ты не понимаешь? Сейчас май, каникулы начинаются.
А я так расстроилась, что не могла понять!

Николай:

В детстве мечтал я стать художником. Мать была против, считала, что художники – бедный народ, не могут заработать ни на жильё, ни на жизнь. В 10-12 лет я сам накопил целую кучу денег, чтобы поступить в художественную школу. Обучение там стоило 15 рублей в месяц. У меня получилась эта сумма в основном медяками. Приехал в школу, высыпал мелочь, учитель посмотрел на меня, засмеялся. А уж потом матери деваться некуда, стала платить. Зарплата у неё была небольшая, понять её можно.

**Лабаз. Чем пахнет очередь.**

Людмила:

Я часто стояла в кондитерском отделе и смотрела на витрины. Денег не было, но так хотелось что-нибудь купить. Особенно морские камушки – изюм в глазури. Я стояла и думала: вырасту, пойду работать и буду покупать только эти камушки.

Римма:

Было трудно – приходилось и в очередях стоять, и в Москву ездить за продуктами. Но зато продукты были продуктами. Вот выйдем со смены – от Лабаза очередь стоит. Понюхаю – и понятно, что продают: котлеты, или колбасу, или окорок… Запах такой всегда был!

Людмила:

Очереди стояли огромные. Если выкинули что-то, то бежали все. Занимали сразу на весь корпус. Подбежишь, а тебе кричат: «Где же ты был, я тебе очередь заняла». А другие кричат: «Никого тут не стояло». Давали по полкило на человека, а это ведь мало. И люди брали из очереди чужого ребёнка и говорили: «На двоих». А потом и другие его брали, и третьи.

Галина:

В мясном отделе я любила смотреть на огромные туши, которые висели на стенах. Пока мама стояла в очереди за мясом, я уходила к прилавку, где находился большой пень, и рубщик разделывал туши. Женщины просили отрубить тот или иной кусок, и меня всегда удивляло, как он с одного маха рассекал тушу и отделял нужную часть. А на пирожные или что-то такое денег не было. Вообще, бедно жили. Мама купит осьмушку чая, и до зарплаты его тянем.

Людмила:

Люди, которые работали в Лабазе, это была особая категория. Считалось за удачу, если среди них были знакомые или родственники. Были они грубоватые, пренебрежительные. Перед ними приходилось заискивать: «Нам бы...» А он в ответ: «Вот ещё!» – и бросит что-нибудь на прилавок. Не приходилось выбирать. Досталась пара сапог, нравится или нет, это уже счастье. Пиво не стояло на прилавке – «приходи и бери». Когда привозили, для мужчин был праздник.

Светлана:

После войны помню очереди за хлебом. Потом появился сахар – и за сахаром. Бывало, спишь – и вдруг закричат в коридоре. Привезли что-то. И мы все вскакиваем и ночью бежим в очередь. Время трудное было. Но, наверное, в России только такое и было всегда.

**Фабрика. Сейчас**

Римма:

Сейчас идёшь – тишина, ни души народу. А ведь раньше толпами тут ходили, шли на фабрику прямо целым потоком. И новости были, помню. Такой-то завод пустили, столько-то рабочих мест... И мы вроде как чувствовали, что мы нужны. А теперь о рабочих вообще не говорят, как будто их и нет!

Антонина:

Сейчас рабочий - насмешка просто. «Ой, ты что, на заводе работать будешь?» Часто приходится слышать: что вот не учится ребёнок – пойдёт на фабрику. Как наказание! А ведь фабрика столько воспитала людей хороших! Фабричные... Они все были дерзкие, с железным характером и, мне кажется, очень живучие, да.

Людмила:

Сейчас я иногда прихожу на фабрику – и прямо сердце жмёт. Знаешь тут каждый уголок, каждый подвал, каждый чердак, каждый кирпич. Конечно, не хочется, чтобы предприятие затухало. Хоть бы один цех работал. Чтобы мы чувствовали, что фабрика ещё дышит.

Нина:

Сейчас уже, конечно, совсем другое дело, каждый живёт по-своему. А тогда жили одной семьёй. И не было зависти, ничего такого. Была чистая любовь ко всем. Мне 96 лет, идёт 97-й. Секрет долголетия? Не знаю в чём. Мне кажется, я просто любила жизнь и любила труд. И все трудности воспринимала с любовью что ли. А теперь, может, уже и хватит жить-то? А?

**Финал. Песнь о нелёгкой жизни**

ХОР:

всё впритык, всё вплотную

не шибко какой обустроенный быт

на фабрике толстых нет

жизнь была довольно кропотливой

думаю, поколотит меня

почти друг на дружке спали

дома-то жрать нечего

привыкла ко всему

накинула лямку – и потащили

ходили собирали куски

хлеба не помню никогда

дайте очисток поесть

помирать так вместе

как это мы выжили

1. Пьеса основана на воспоминаниях рабочих фабрики «Красный Перекоп» (Ярославль) [↑](#footnote-ref-1)